

МЕРТВОЕ МЕСТО

18+



АРТЕМ СТЕРХОВ

Артём Стерхов

Мертвое место

«Издательские решения»

Стерхов А. А.

Мертвое место / А. А. Стерхов — «Издательские решения»,

1943 год. Великая Отечественная война идёт третьим годом. Москва пала. Советский Союз на грани капитуляции. Лейтенант Александр Подлесный и его отряд «Лесники» продолжают воевать в тылу врага. Они взрывают склады, пускают под откос эшелоны, уходят от погони. Они теряют друзей, веру, надежду. Но не сдаются. «Мёртвое место» — первая книга трилогии о людях, которые не сдаются даже тогда, когда сдаваться некому. О цене сопротивления. И о том, что остаётся, когда у человека отнимают всё.

© Стерхов А. А.

© Издательские решения

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СОЛДАТ ПОГИБШЕЙ АРМИИ	6
Глава 1. Вяземский котёл	6
СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	19
Глава 2. Куйбышев. Начало конца	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Мертвое место

Артём Александрович Стерхов

© Артём Александрович Стерхов, 2026

ISBN 978-5-0069-9787-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СОЛДАТ ПОГИБШЕЙ АРМИИ

Глава 1. Вяземский котёл Октябрь 1941 года

Он проснулся от холода.

Холод был везде. В ногах, в спине, в пальцах, которые он не чувствовал уже вторые сутки. Он лежал на дне окопа, вжавшись в мёрзлую землю, и пытался понять, где он, который час и жив ли он вообще.

Над головой свистели пули. Тонко, настойчиво, как комары в июльскую ночь. Он научился различать их звук

— те, что летят мимо, и те, что в тебя. Сейчас летели мимо. Пока.

— Товарищ лейтенант, — прошептал кто-то рядом.

Он повернул голову. Рядом, вжавшись в стенку окопа, сидел молодой солдат в измятой шинели. Лица не разобрать — темно. Только глаза. Белки блестят в темноте.

— Чего? — спросил Подлесный. Голос прозвучал хрипло, чужим.

— Немцы, — сказал солдат. — С той стороны. Человек десять. Идут прямо на нас.

Подлесный приподнялся. Спина заныла, плечо отозвалось тупой болью. Он не помнил, когда в последний раз спал больше часа. Не помнил, когда в последний раз ел. Не помнил, когда этот кошмар начался. Кажется, вчера. А может, неделю назад. Время в котле текло по-другому. Слишком быстро

и слишком медленно одновременно.

Он выглянул из окопа. С той стороны, метрах в пятидесяти, двигались тени. Много. Не десять — больше. Двадцать, может, тридцать. Они шли осторожно, перебежками, пригибаясь. Немецкая разведка. Или не разведка. Может, зачистка.

— Сколько у нас людей? — спросил он.

— Восемь, — ответил солдат. — Было десять. Вчера вечером двое ушли. Говорят, сдаваться пошли.

— Сдаваться?

— Говорят, приказа нет, командиров нет, армии нет. Чего воевать?

Подлесный промолчал. Он хотел сказать, что приказ есть

— стоять насмерть. Что командиры есть — он, например.

Что армия есть — они, здесь, в этом окопе. Но слова не шли. Потому что солдат был прав. Приказа не было. Командиров

не было. Армии не было. Было только кольцо окружения, которое сжималось с каждым часом. Были танки, которые горели на дорогах. Были трупы, которые никто не убирал. Был холод. И страх. И то, что приходит, когда понимаешь: ты один, и никто не придёт.

— Подними всех, — сказал он. — Приготовиться к бою.

Солдат кивнул и исчез в темноте. Подлесный остался один.

Он лежал на дне окопа и слушал. С той стороны доносились приглушённые голоса. Немецкая речь. Он понимал почти всё

— университетская практика, немецкий язык он знал хорошо. «Осторожно», «не стрелять», «возможно, уже ушли». Они

не знали, что здесь кто-то есть. Думали, что всё кончено.

Что русские разбежались или сдались.

Они ошибались. Не все разбежались. Не все сдались.

Подлесный вытащил пистолет. ТТ, старый,
с потёртой рукоятью. Патронов было два. Всего два. Винтовку он потерял при прорыве,
когда их взвод попал под миномётный обстрел. Тогда погибли почти все. А он выжил. Не
потому,

что был умнее или быстрее. Просто повезло. Или не повезло
— он ещё не решил.

В кармане лежало письмо. Он получил его за месяц до этого, когда они стояли под Вязь-
мой. Мать писала из Москвы. Писала, что в городе бомбят, что она сидит в подвале, что ждёт
его. «Помни, кто ты», — писала она. — «Ты из рода людей, которые не сдаются».

Он помнил. И не сдавался. Даже когда не было смысла.

Солдаты подтянулись к нему. Восемь человек. Молодые, грязные, измождённые. У
одного — винтовка, у двоих

— автоматы, у остальных — гранаты и штыки. И это всё. Восемь человек и горсть патро-
нов против армии, которая захватила пол-Европы.

— Немцы идут, — сказал Подлесный. — Человек тридцать. Будут здесь через пять
минут. Мы их пропускаем, бьём

по первым, потом отходим к лесу. Ясно?

— А смысл? — спросил один из солдат. Он был молодой, лет девятнадцати, с обморо-
женным лицом. — Нас всё равно перебьют.

— Смысл — выжить, — ответил Подлесный. — Я хочу выжить. Вы?

Солдат промолчал. Потом кивнул.

— Вот как тебя зовут? — обратился Подлесный к бойцу, который задал этот вопрос.

— Ваня. Иван Ковалёв, — неуверенно ответил тот.

— Ваня, — более ласково начал лейтенант, — главный смысл жизни, как ни странно, это
жить. — Подлесный подытожил и крепче прежнего схватился за свой ТТ.

— Виноват, товарищ лейтенант, командиров не бросим,

— оправдывался Иван.

— Тогда слушайте, — сказал Подлесный. — Когда я скажу — стреляете. Два выстрела
— и бегом. В лес

не останавливаться. Там наши. Может быть. По крайней мере, там нет немцев.

Он не был уверен. Ни в чём не был уверен. В лесу могли быть немцы. Могли быть свои.
Могло быть ничего. Но выбора не было.

Тени приближались. Подлесный слышал их шаги, их дыхание, их приглушённые голоса.
Они шли уверенно, по-хозяйски. Они знали, что здесь, в этом лесу, за этой линией окопов, нет
никого, кто мог бы им помешать. Они ошибались.

— Приготовиться, — прошептал Подлесный.

Он поднял пистолет. Рука не дрожала. Он удивился этому. Должна была дрожать. Должен
был быть страх. А была только пустота. И холод. И то, что приходит, когда всё уже решил.
Спокойствие.

Первый немец появился из темноты. Молодой, лет двадцати, в серой шинели, с автома-
том на груди. За ним — второй. Они шли, не оглядываясь. Они не ждали опасности.

— Жди, — прошептал Подлесный.

Третий. Четвёртый. Пятый. Они проходили мимо окопа,

в котором лежали восемь человек с оружием, и не замечали их.

— Огонь! — крикнул Подлесный.

Пистолет дёрнулся в руке. Выстрел грохнул, разорвал тишину. Немец упал. Второй —
от чьей-то пули. Третий. Четвёртый. Немцы замечались, закричали, открыли ответный огонь.
Пули засвистели над головой.

— Бегом! — закричал Подлесный.

Он выскочил из окопа, побежал к лесу. За ним — остальные. Кто-то упал. Кто-то закричал. Подлесный не оглядывался.

Он бежал, перепрыгивая через воронки, через трупы, через то, что ещё вчера было людьми.

Лес был близко. Метров триста. Двести. Сто.

Взрыв. Осколок ударил в спину. Подлесный упал, не поняв, что случилось. Боль пришла не сразу. Сначала — толчок, потом — жжение, потом — всё тело наполнилось огнём.

Он лежал на снегу и смотрел в небо. Серое, низкое, беззвёздное. Снег падал на лицо, таял, стекал по щекам. Где-то рядом стреляли. Кричали. Умирали.

Он попытался встать. Не смог. Ноги не слушались. Руки не слушались. Всё тело не слушалось.

«Вот и всё», — подумал он. — «Вот и конец».

Он лежал и смотрел в небо. Снег всё падал. Белый, чистый, равнодушный. Он падал на лес, на поле, на трупы, на него.

Он падал и падал, и не было ему конца.

В кармане лежало письмо. Он чувствовал его сквозь гимнастёрку, сквозь кожу, сквозь боль. «Помни, кто ты».

Он помнил. Но это не помогало. Ничего не помогало. Боль была сильнее. Боль была сильнее всего.

— Мама, — сказал он. — Прости.

Никто не услышал. Снег глушил звуки. Война глушила всё.

Он закрыл глаза. И провалился в темноту.

Отто Бок, обер-унтерштурмфюрер 4-й танковой дивизии СС, начал вести дневник в день нападения на СССР. Он вёл его на протяжении всей войны — через победы и поражения, через смерть друзей и потерю иллюзий.

22 июня 1941 года. 03:15.

Граница СССР, восточнее Бреста.

Мы перешли границу час назад.

Артиллерийская подготовка была такой, что земля дрожала как в лихорадке. Русские не ожидали. Их пограничные заставы горели факелами, когда наши танки проходили мимо.

Я видел нескольких солдат в зелёных фуражках — они стреляли из окон, пока здания не рухнули.

Я записываю это при свете фар. Вокруг — гул моторов, запах солянки и гари. Мой танк — четвёртый в колонне.

На броне мелом написано «Москва». Кто-то пошутил:

«К обеду будем». Мы смеялись.

Фельдфебель Крюгер (командир орудия, старый солдат, прошёл Францию) сказал: «Записывай, Бок. Это будет великая война. Твои внуки будут читать». Не знаю про внуков.

Но записываю.

Мы прошли 40 километров за ночь. Сопротивление

— очаговое. Русские не понимают, что случилось. Их танки

— я видел несколько Т-26 — стоят на позициях без горючего. Люди спят в окопах. Мы проходим мимо. Это не война. Это вскрытие.

Сегодня я впервые убил.

Не в бою — в бою я убивал и раньше, во Франции. Но там всё было по-другому. Там мы воевали с равными. Здесь... здесь они не понимают, что происходит. Они выбегают из окопов с винтовками наперевес, кричат что-то на своём языке,

а мы их просто косим. Я видел, как один бежал прямо на мой танк с гранатой в руке. Я нажал на спуск. Пулемётная очередь разорвала его в клочья.

Крюгер сказал: «Хороший выстрел, Бок». Я кивнул.

Но внутри было странное чувство. Не гордость. Не радость. Что-то другое. Может быть, это и есть чувство победы?

Я горжусь тем, что служу в дивизии СС. Мы — элита. Мы — те, кто несёт новый порядок в эту отсталую страну. Фюрер сказал: «Мы освобождаем эти народы от большевистского ига». Я верю в это. Я должен верить.

Обер-унтерштурмфюрер Отто Бок, 4-я танковая дивизия СС

25 июня 1941 года. Минск пал.

Минск взяли. Город горит. На улицах — трупы. Не только солдат. Говорят, НКВД расстрелял заключённых перед уходом. Женщины сидят на обочинах с чемоданами. Они смотрят на наши колонны так, будто мы пришли с другой планеты.

Я видел старуху. Она стояла у разбитого дома и крестилась. Наши танкисты кричали ей «Russen kaput!». Она не понимала. Или понимала слишком хорошо.

Крюгер записал в своём дневнике: «Население встречает нас как освободителей». Я не знаю, правда ли это. Они встречают нас так, как встречают любую армию, которая приходит после бомбёжки. С ужасом и надеждой. Надеждой на то, что хуже уже не будет.

Но я верю, что мы несём им свободу. Фюрер сказал, что они будут благодарны. Значит, так и будет.

3 июля 1941 года. Восточнее Минска.

Сегодня впервые стрелял по танкам. Т-34. Две машины.

Я выпустил четыре снаряда. Первый — рикошет. Второй

— по баине. Загорелся. Третий и четвёртый — по второму.

Он тоже загорелся.

Экипажи успели выпрыгнуть. Я видел их в прицел. Они бежали в поле, горели комбинезоны. Один упал, встал, упал снова. Потом перестал двигаться.

После боя я нашёл их. Молодые. Младше меня. В кармане одного — письмо. Я не понял ни слова, но в конце было нарисовано сердце и три имени: «Мама, Папа, Катя». Идиоты, зачем они до сих пор с нами воюют?

Крюгер сказал: «Не бери в голову. Они бы убили тебя, если бы успели». Это правда. Но правда не помогает.

Я записываю это, чтобы помнить. Война — это не танки

и не манёвры. Война — это когда смотришь в прицел и видишь, как человек превращается в огонь. Но мы делаем великое дело. Мы очищаем землю от большевизма. Это стоит любых жертв.

16 июля 1941 года. Смоленск.

Говорят, Москва будет взята через две недели. Потом

— поворот на юг, потом — на Кавказ. Всё по плану. Блицкриг работает.

Я получил письмо от матери. Она пишет, что в Берлине всё спокойно, что люди радуются победам, что фюрер обещает скорое окончание войны. Она гордится мной. Пишет: «Твой отец тоже гордился бы».

Отец погиб во Франции, в сороковом. Его танк подорвался на mine. Я не плакал на похоронах. Мать плакала.

Я знаю, что отец гордился бы мной. Я продолжаю его дело. Я служу рейху. Я служу фюреру. Это высшая честь для немецкого солдата.

Он не знал, сколько времени прошло. Минуты. Часы. Дни.

Снег падал на лицо, таял, стекал по щекам. Боль ушла. Или не ушла — просто стала другой. Той, что живёт где-то далеко, за стеной, которую он не мог пробить. Он лежал на спине, смотрел в серое небо и слушал тишину. Стрельба стихла. Или он перестал её слышать.

— Товарищ лейтенант, — голос прозвучал рядом, глухо, будто из-под воды. — Товарищ лейтенант, вы живы?

Он хотел ответить, но не смог. Губы не слушались. Язык примёрз к нёбу. Он только моргнул.

— Живой, — сказал голос. — Слава богу, живой.

Кто-то наклонился над ним, закрыл небо. Лицо — молодое, грязное, с обмороженными щеками. Ковалёв. Тот самый, который спрашивал про смысл. Который сказал: «Командиров бросать нельзя».

— Сейчас, сейчас, — бормотал Ковалёв, стягивая с себя пояс, разрезая гимнастёрку. — Сейчас перевяжу.

Руки у него дрожали. Но делал он всё быстро, умело. Деревенские мальчишки умели обращаться с ранами — коров перевязать, лошадей. Человек — не корова, конечно, но кровь течёт одинаково.

— Держитесь, — говорил Ковалёв. — Держитесь, товарищ лейтенант. Мы выйдем.

Подлесный хотел сказать, что не надо его тащить. Что пусть идут сами. Что он только задержка. Но слова не шли. Только хрип вырвался из горла.

— Молчите, — сказал Ковалёв. — Молчите, не тратьте силы.

Он поднял Подлесного, взвалил на плечо. Силы у него было — молодой, крепкий, из деревни. Только ноги вязли в снегу, и каждый шаг давался тяжело.

— Пошли, — сказал он кому-то. — Чего встали?

Подлесный не видел, кто ещё остался. Слышал только шаги. Много шагов. Или мало — он не мог разобрать. Голова кружилась, перед глазами плыли белые пятна.

— В лес, — сказал кто-то. — В лес надо, там немцев меньше.

— В лес так в лес, — ответил Ковалёв. — Только бы до леса дойти.

Лес был близко. Метров триста, может, двести. Но для Ковалёва эти метры стали вечностью.

Он шёл, переставляя ноги, чувствуя, как тяжелеет ноша

с каждым шагом. Подлесный был невысоким, но в полной выкладке, с намёрзшей на шинель коркой льда — тяжёлый. Ковалёв стиснул зубы, шагал, не останавливаясь. Сзади топали остальные. Он не оглядывался, боялся увидеть, что их мало. Или что их нет.

В лесу стало темно. Деревья смыкались над головой, небо исчезло. Ковалёв шёл, пока не понял, что больше не может. Поставил Подлесного на землю, прислонил к стволу сосны, сам сел рядом, тяжело дыша.

— Сколько нас? — спросил он.

— Четверо, — ответил кто-то. — Ты, лейтенант, я да Коля. Остальные... не вышли.

Ковалёв посмотрел на тех, кто остался. Двое. Одного он знал — молодой парень из их взвода, весёлый, с гармошкой. Теперь сидел на снегу, смотрел в одну точку, молчал. Второго видел впервые — может, из другого подразделения, может, прибил по дороге.

— Как звать-то? — спросил Ковалёв.

— Серёгой, — ответил первый.

— Николаем, — сказал второй.

— Ладно, Серёга, Николай. Будем выходить.

Он посмотрел на Подлесного. Лейтенант был бледен, губы синие, глаза закрыты. Ковалёв потрогал пульс — слабый,

но есть.

— Живой, — сказал он. — Будем тащить.

— Куда? — спросил Серёга. — Кругом немцы. Говорят, Москву сдали.

— Врёшь, — сказал Ковалёв.

— Не вру. Передачу слышал. По радио.

Ковалёв помолчал. Потом встал.

— Врёшь, — повторил он. — Москву не сдадут. Мы выйдем. К своим.

— А где свои? — спросил Николай. — Где они, свои?

Ковалёв не ответил. Он знал, что свои там, где немцев нет.

А где их нет — он не знал. Может, на востоке. Может, за Волгой. Может, вообще нигде.

— К своим выйдем, — сказал он. — А пока — вперёд.

Они шли лесом. Медленно, останавливаясь каждые сто метров, чтобы перевести дух. Ковалёв тащил Подлесного

на себе. Серёга нёс автомат и вещмешок. Николай шёл впереди, проверял дорогу.

Снег всё падал. Белый, чистый, равнодушный. Он засыпал следы, заметал тропы, прятал их от немцев. И от себя.

К вечеру, когда уже совсем стемнело, они вышли к оврагу. Внизу, под обрывом, чернела вода — ручей, не замёрзший

до конца. Ковалёв спустился, положил Подлесного на берегу, сам сел рядом.

— Надо перевязать, — сказал он. — Кровь не останавливается.

Он разорвал свою рубаху, снял повязку. Рана была страшная — осколок застрял глубоко, вокруг почернело, сочилась сукровица. Ковалёв промыл водой из ручья, наложил новую повязку. Подлесный не шевелился.

— Лейтенант, — позвал Ковалёв. — Товарищ лейтенант.

Подлесный открыл глаза. Мутные, ничего не видящие.

— Что? — прошептал он.

— Живы, — сказал Ковалёв. — Мы живы. Будем выходить.

Подлесный посмотрел на него долгим взглядом. Потом закрыл глаза.

— Иди, — сказал он. — Один иди. Я не дойду.

— Дойдёте, — ответил Ковалёв. — Я сказал — дойдёте.

Ночь они провели в овраге. Костёр не разводили — боялись немцев. Сидели в темноте, прижавшись друг к другу, грелись дыханием. Ковалёв не спал. Сидел, прислонившись к стволу упавшей берёзы, и слушал. Где-то далеко ухали орудия. Где-то близко — ветер шумел в ветках. Война была везде. И нигде.

В тишине ночи Сергей не выдержал и спросил:

— Ваня, а Вань! — своим неторопливым темпом, вполголоса сказал он.

— Чего?

— А может, ну его? Он же мёртв уже, мы с ним еле идём. Оставь его.

В ночной темноте Коля тоже присоединился к разговору

— молча, так умеют не многие. Он наклонился, и в свете луны были видны его глаза, которые во всём поддерживали Сергея.

— Да ну вас, — недовольно фыркнул Ковалёв, наклонился над Подлесным, проверил пульс и дыхание. Убедившись, что жизнь всё ещё есть в этом теле, он успокоился и повернулся обратно к ребятам: — Да если бы не он, все бы там лежали! Вы вообще в своём уме? Он спас нас, а вы...

Не закончив фразу, Ковалёв развернулся обратно к лейтенанту, который лежал на припорошенной земле

с мешком под головой. И всё приговаривал себе под нос, сильно гневаясь на солдат. Пристыдил он бойцов, явно совесть сжирала их.

Под утро снег перестал. Небо прояснилось, звёзды высыпали на чёрный купол, мелкие, колючие. Ковалёв смотрел на них

и думал о доме. О матери, которая ждёт. О деревне, где снег такой же белый, а звёзды такие же яркие. И о том, что он, может быть, никогда туда не вернётся.

— Вставайте, — сказал он, когда начало светать. — Пора.

Сергей молча подхватил на плечо Подлесного, посмотрел на бойцов и пошёл в сторону леса. Николай устремился вперёд, проверять дорогу. А Ковалёв, собирая вещи, понял, что «проснулась всё же совесть».

Они вышли к дороге к полудню.

Дорога была разбита, укатана танками, изрыта воронками.

По краям — брошенные машины, разбитые орудия, трупы. Много трупов. Свои и чужие, уже не различишь

— все одинаковые под снегом.

— Смотри, — сказал Сергей, показывая на восток.

Там, на горизонте, дымилось что-то большое. Город. Может, Калуга. Может, Тула. Может, сама Москва — кто теперь разберёт.

— Туда нам надо, — сказал Ковалёв. — На восток. Там наши.

— А если там немцы? — спросил Николай.

— Если немцы — пойдём дальше.

Они пошли по дороге. Николай нёс Подлесного, остальные шли рядом, оглядываясь. Дорога была пуста. Ни своих,

ни чужих. Только снег, только ветер, только редкие вороны, кружащие над падалью.

К вечеру показалась деревня. Несколько изб, покосившихся, почерневших. Дымок над одной — значит, жива. Вокруг

— тишина, та самая, которая бывает только в глубоком тылу, где война слышна, но не видна. Где-то далеко ухали орудия,

но здесь, среди заснеженных полей и чёрных изб, казалось, что войны нет. Или она кончилась. Или её никогда не было.

— Зайдём? — спросил Сергей. Голос его звучал хрипло,

он не пил уже вторые сутки.

— Зайдём, — ответил Ковалёв. — Надо перевязать лейтенанта. И отогреться. Дальше не пойдём, пока не придём

в себя.

Они подошли к крайней избе. Ковалёв постучал. Долго никто не открывал. За пеленой снега, за тяжёлыми ставнями чувствовалась настороженная тишина — та, что бывает, когда за дверью стоят, прислушиваются, боятся.

— Кто там? — голос из-за двери, старческий, испуганный.

— Свои, бабушка. Свои. — Ковалёв старался говорить тихо, но твёрдо. — Из окружения выходим. Раненый у нас.

Дверь скрипнула. В щель выглянуло морщинистое лицо, обвязанное платком. Глаза — быстрые, цепкие, разглядывают, оценивают. Потом взгляд упал на Подлесного, на окровавленную повязку, на лица, обмороженные, измождённые.

— Заходите, — сказала старуха, отворяя дверь. — Заходите, родимые. Только тихо. Соседи — всякое бывает.

В избе было тепло. Печь топилась, пахло хлебом, капустой, чем-то ещё — деревенским, забытым, мирным. Подлесного положили на лавку, старуха принесла воды, тряпок. Кова-

лёв разорвал свою рубаху, снял старую повязку. Рана почернела, края воспалились, сочилась сукровица.

— Осколок, — сказал Ковалёв. — Надо вытаскивать. Глубоко засел.

— Не надо, — сказал сквозь зубы Подлесный. — Не надо.

Я сам.

Он попытался приподняться, но не смог. Ковалёв придержал его.

— Лежите, товарищ лейтенант. Я сам.

Старуха молча поставила на стол кринку, глиняную плошку, подала нож.

— Вот. Водка там, в подполе. Сходи, Серёжа, принеси.

— Она посмотрела на рану, покачала головой. — Глубоко.

Но вытащишь. Ты, милый, видать, не впервой.

Ковалёв кивнул. Он прокалил нож в печи, промыл водкой. Подлесный смотрел на него, не отрываясь. Глаза были мутные, но в них была какая-то странная ясность — та, что бывает у людей, которые уже всё решили.

— Давай, — сказал он.

Ковалёв разрезал рану. Осколок был глубоко, застрял между рёбрами. Ковалёв потянул — Подлесный застонал, схватился

за край лавки, побелел, но не закричал.

— Ещё, — сказал он сжавшись от боли.

Ковалёв потянул сильнее. Осколок вышел с хрустом, мокрый, тёмный, с рваными краями. Подлесный выдохнул

— долго, тяжело, как выдыхают, когда боль отпускает. Закрыв глаза.

— Всё, — сказал Ковалёв. — Всё, товарищ лейтенант. Вытащил.

Он промыл рану, зашил, наложил повязку. Старуха дала отвара из трав, напоила. Подлесный выпил, не открывая глаз. Потом провалился в сон — тяжёлый, без сновидений, без криков.

— Спасибо, — сказал он. — Спасибо, Иван.

— Не за что, — ответил Ковалёв.

Ночь они провели в избе. Костёр не разводили — и так было тепло. Сергей и Николай спали на полу, привалившись друг

к другу, как щенки. Старуха сидела в углу, перебирала крупу, бормотала что-то под нос — может, молитву, может, причитания. Ковалёв не спал. Сидел у окна, смотрел на дорогу. За окном было темно. Снег перестал. Луна вышла из-за туч,

и всё вокруг стало синим, мёртвым, нереальным.

— Ты бы поспал, милый, — сказала старуха. — Дорога дальняя.

— Не могу, бабушка. — Ковалёв смотрел в окно, не оборачиваясь. — Чует моё сердце — беспокойно.

— Чего чуешь?

— Не знаю. Тишина какая-то. Слишком тихо.

Старуха перекрестилась. В углу, под образами, теплилась лампадка, бросала на стены дрожащие тени.

— Господь милостив, — сказала она. — Господь не оставит.

Ковалёв не ответил. Он сидел, глядя в темноту, и ждал. Чего — он и сам не знал.

Они пришли под утро.

Сначала показались огни. Далеко, со стороны большой дороги. Ковалёв заметил их первым — слабое зарево, которое

то разгоралось, то угасало. Фары. Машины. Много.

— Вставайте! — прошептал он, тряся Сергея за плечо.

— Немцы!

Сергей вскочил, не понимая спросонья, где он. Николай заворочался, открыл глаза.

— Тихо! — Ковалёв прижал палец к губам. — Не шуметь.

Он метнулся к окну, выглянул. По дороге, которая проходила в полусотне метров от крайних изб, двигались машины. Три. Четыре. Пять. Грузовики, с выключенными фарами, только подфарники — тусклые, жёлтые точки. За ними — мотоциклы, тоже без света. Немцы шли без огней, ночь была лунная,

и Ковалёв видел их — серые шинели, каски, автоматы.

— Облава, — прошептал он. — Или зачистка. Нас ищут.

— Уходить надо, — сказал Сергей.

— Поздно. Они уже здесь. Если побежим — заметят.

Старуха поднялась с лавки, посмотрела на них спокойно, будто всю жизнь ждала этого момента.

— В подпол, — сказала она. — Живо. И не пикните.

Она откинула крышку в углу избы, под которой чернела дыра. Ковалёв заглянул — темно, пахнет землёй, сыростью, чем-то кислым.

— Лейтенанта первым, — сказал он.

Они спустили Подлесного — он был в забытьи,

не чувствовал ничего. Потом спустились сами. Ковалёв последним, накинуд сверху мешковину, которую подала старуха. Крышка закрылась, и наступила темнота.

Они сидели в подполе, прижавшись друг к другу, и слушали.

Сверху раздавались шаги. Много шагов. Тяжёлые сапоги по деревянному полу. Голоса. Немецкая речь — резкая, гортанная. Старуха что-то говорила — не слышно, что. Потом — грохот, что-то упало, посуда зазвенела.

— Обыскивают, — прошептал Сергей.

— Молчи, — Ковалёв прижал его к земляной стене.

— Молчи, ради бога.

Шаги приблизились к тому месту, где был лаз. Ковалёв слышал, как скрипят половицы прямо над головой. Немец

что-то сказал — коротко, отрывисто. Старуха ответила

— спокойно, даже ласково. Потом шаги удалились.

Ковалёв выдохнул. Но не расслабился.

Минута. Две. Пять. Шаги вернулись. Теперь их было больше. Голоса — громче. Старуха заговорила быстрее, в голосе появилось что-то, чего Ковалёв не слышал раньше. Страх.

— Там кто-то есть, — сказал Сергей.

— Молчи.

Немецкий голос перебил старуху. Короткая фраза. Потом

— звук, который Ковалёв узнал бы из тысячи. Щелчок затвора. Автомат.

— Не стреляйте, — голос старухи стал тихим, спокойным.

— Никого нет, родимые. Одна я.

Пауза. Потом — шаги. Теперь совсем близко. Ковалёв смотрел в темноту, туда, где была крышка подпола. Он видел, как она чуть приподнялась. Щель света. Чей-то сапог, край шинели.

— Не стреляйте, — снова голос старухи. — Никого нет.

Луч фонарика скользнул в щель, прошёлся по стенам подпола. Ковалёв замер, прижавшись к земле. Сергей рядом

не дышал. Николай закрыл глаза, губы его шевелились

— молился.

Луч ушёл. Крышка опустилась. Шаги. Голоса. Потом

— тишина.

Они сидели в темноте ещё долго. Ковалёв не знал, сколько прошло времени — час, два, целая вечность. Сверху было тихо. Потом скрипнула дверь, чьи-то шаги, и снова тихо.

Старуха открыла крышку, когда уже светало.

— Выходите, — сказала она шёпотом. — Ушли.

Они вылезли из подпола, слепые после темноты. Изба была разгромлена — стол перевернут, лавки сдвинуты, половицы вскрыты в двух местах. На полу — осколки посуды, рассыпанная крупа, опрокинутая лампадка.

Старуха сидела на лавке, сложив руки на коленях. Лицо

её было спокойным, но глаза — глаза видели что-то, чего они не могли понять.

— Бабушка, — сказал Ковалёв. — Вы как? Не тронули?

— Не тронули, — ответила она. — Побили немного.

Не впервой.

Она посмотрела на Подлесного, который лежал на полу, куда они его положили, выбираясь из подпола.

— Живой?

— Живой. Спит.

— Ну и слава богу. — Она перекрестилась. — Слава богу, всех уберёт.

Ковалёв хотел спросить, как она их спасла. Что говорила немцам. Как отвела подозрения. Но не спросил. Потому что знал — она не скажет. И потому что боялся услышать.

— Собирайтесь, — сказала старуха. — Уходите. Могут вернуться.

Она достала из-под разобранного пола узелок — хлеб, сало, луковицы.

— Возьмите. В дороге пригодится.

— Спасибо, бабушка, — сказал Ковалёв. — Как вас звать-то?

Она покачала головой.

— Не надо. Идите. Идите, родимые. Там, на востоке, наши. Туда идите.

Они оделись, подняли Подлесного. Ковалёв взвалил его на плечо, подхватил узелок. У порога остановился.

— А вы как же, бабушка? Они же вернутся. Узнают, что мы были.

Старуха усмехнулась. Усмешка вышла кривая, невесёлая.

— Стара я уже. Меня не тронут. А если тронут... — Она махнула рукой. — Всё одно. Век свой пожила.

Она перекрестила их.

— С богом, сынки. С богом.

Они вышли на дорогу, когда солнце уже поднялось над лесом. Снег искрился, слепил глаза. Вдалеке, на западе, всё ещё дымилось что-то большое — может, город, может, пожарище. Война была там. А здесь, в этой деревне, среди заснеженных полей, было тихо.

Ковалёв шёл, переставляя ноги, чувствуя тяжесть Подлесного на плече. Сзади топали Сергей и Николай. Молчали. Думали о том, что было. И о том, что будет.

Он оглянулся на деревню. Избы стояли чёрные, молчаливые. У крайней, той, где они ночевали, стояла старуха. Маленькая, согнутая, в чёрном платке. Смотрела им вслед.

Ковалёв хотел помахать ей, но не поднял руку. Только кивнул. Она, видно, увидела — тоже кивнула. И исчезла

в дверях.

Они шли дальше. Снег скрипел под ногами. Солнце поднималось выше. И где-то там, на востоке, их ждала дорога. Долгая. Тяжёлая. Может, последняя.

— Дойдём? — спросил Сергей.

— Дойдём, — ответил Ковалёв. — Обязательно дойдём.

Калугу они достигли через неделю.

Город жил своей эвакуационной жизнью: всюду сворачивали войска, разворачивался госпиталь, гудение моторов полуторок сливалось с криками команд. На вокзале Ковалёв сдал Подлесного санитарам. Те забрали его, уложили на носилки.

— Выздоровливайте, товарищ лейтенант, — сказал Ковалёв.

Подлесный открыл глаза. В них было что-то, чего Ковалёв не видел раньше. Пустота. Или не пустота — то, что остаётся, когда всё забирают.

— Спасибо, Вань, — шёпотом сказал он. — Ты меня спас.

— Не за что, — ответил Ковалёв. — Командиров бросать нельзя.

Он сжал руку Александру, сильно, по-мужски, как братья прощаются. Ковалёв, Сергей Мезенцев и Николай Дробот ушли в свои части. Подлесного унесли в госпитальную машину.

Больше они никогда не видели друг друга.

Через два месяца Иван Ковалёв погиб под Ржевом.

Он не успел узнать, что Москва пала. Не успел узнать, что его мать угнали в Германию.

Не успел узнать, что всё, за что

он воевал, рухнуло.

Сергей Мезенцев попал в плен и умер во время этапа на принудительные работы в Германию. Он задохнулся

в вагоне, набитом людьми как сельди в бочке, — в одном из тех составов, что немцы отправляли на запад.

Николай Дробот после падения Москвы отступал к Волге. Его рота попала под артиллерийский удар под Сталинградом. Осколок перебил сонную артерию — смерть наступила за минуту.

Все они — и миллионы других — сделали то, что должны. Не герои. Просто люди, которые не сдались.

г. Куйбышев. Зима 1942 года

Он очнулся от тишины.

Тишина была странной. Не той, к которой он привык

за последние месяцы — с разрывами снарядов, свистом пуль, хрустом снега под сапогами.

Другой. Спокойной. Мёртвой.

Он лежал с закрытыми глазами и слушал, боясь пошевелиться. Где-то рядом капала вода. Размеренно, монотонно. Где-то далеко скрипела дверь. Пахло карболкой, йодом, чем-то ещё — кислым, тяжёлым, больничным.

Он открыл глаза.

Белый потолок. Высокий, с лепниной. Дореволюционный.

Он смотрел на него несколько секунд, пытаясь понять, где находится. Потом повернул голову — и боль пронзила плечо, спину, всё тело. Он застонал сквозь зубы.

— Очнулся? — голос прозвучал рядом. Старческий, усталый.

Он повернулся на звук. Рядом стояла женщина в белом халате, с марлевой повязкой на лице. Из-под повязки выглядывали усталые глаза с красными прожилками.

— Где я? — спросил он. Голос прозвучал хрипло, чужим.

— В госпитале. В Куйбышеве. Ты у нас уже третьи сутки. Думали, не выживешь.

Он попытался приподняться. Не смог. Тело не слушалось. Рука была замотана бинтами, плечо — в гипсе. Он посмотрел

на свои руки — бледные, худые, с обломанными ногтями.

— Кто меня привез?

— Солдаты. Из леса вытащили. Говорят, под Вязьмой ты был. В окружении.

Он закрыл глаза. Вязьма. Окружение. Снег. Кровь. Письмо в кармане. Он резко дёрнулся — и снова застонал от боли.

— Письмо... — прошептал он. — Где письмо?

— В тумбочке, — сказала женщина. — Всё там.

И документы. Не волнуйся.

Он перевёл дыхание. Потом открыл глаза и посмотрел на неё.

— А остальные? Со мной были.

Женщина отвела взгляд.

— Не знаю, милый. Тебя одного привезли.

Он ничего не сказал. Просто смотрел в потолок. Белый, высокий, с лепниной. Такой же белый, как снег там, в лесу. Как снег, который падал на лица тех, кто остался.

Дни в госпитале тянулись медленно.

Он лежал и смотрел в потолок. Считал трещины. Слушал капель. Иногда засыпал — и тогда ему снилась Вязьма. Снег. Кровь. Крики, которых он не мог забыть. Он просыпался в холодном поту, сжимая простыни, и долго лежал, глядя в темноту.

К нему приходили врачи. Меняли повязки. Делали уколы. Говорили, что ранение тяжёлое, что осколок задел лёгкое, что повезло, что живой. Он слушал и молчал. Что ему было сказать? Что он не хотел быть живым? Что он хотел остаться там,

в снегу, вместе с теми, кто не вышел?

Иногда приходили солдаты. Такие же раненые, как

он. Ходили по палате, курили в форточку, рассказывали

о фронте. О том, что Москву не сдали. О том, что немцев отбросили. О том, что будет победа.

Он слушал и молчал. Он знал, что Москву сдадут. Знал, что немцы дойдут до Волги. Знал, что победы не будет. Не такой,

о которой они говорят. Но он молчал. Потому что не мог отнять у них последнее — надежду.

Однажды, когда он уже начал вставать, в палату вошёл невысокий коренастый человек в форме капитана. Лицо смуглое, глаза цепкие, быстрые. Он оглядел палату, остановил взгляд на Подлесном, подошёл.

— Лейтенант Подлесный?

— Я.

— Капитан Соколов. Особый отдел.

Подлесный напрягся. Особый отдел — это не просто так. Это проверки, допросы, вопросы, на которые лучше не отвечать.

— Не бойся, — сказал капитан, присаживаясь на край койки. — Не за этим. Я к тебе с предложением.

Он достал из планшета бумагу, развернул.

— Ты служил в разведке. Был в окружении. Вышел. Есть навыки. Есть опыт. Нам такие нужны.

— Кому — нам?

— Школа особого назначения. ОМСБОН. Готовим диверсантов для работы в тылу врага. Ты подходишь.

Подлесный молчал. Он смотрел на бумагу, на строчки, напечатанные на машинке. Школа. Диверсанты. Тыл врага. Снова война. Снова смерть.

— А выбор у меня есть? — спросил он.

Капитан усмехнулся.

— Всегда есть выбор. Можешь остаться здесь. Потом

— в запасной полк. Потом — снова на фронт. В пехоту. Там тоже нужны люди.

— А там?

— Там ты будешь делать то, что умеешь. И то, что нужно.

Подлесный посмотрел на свои руки. Бледные, худые, с обломанными ногтями. Руки солдата. Руки убийцы. Он знал, что выбора нет. Не потому, что капитан из особого отдела.

А потому, что он не мог иначе. Не умел. Не хотел.

— Я согласен, — сказал он.

Капитан кивнул, встал.

— Через неделю жду в учебном центре. Адрес скажут.

Он ушёл. Подлесный остался один. Лежал, смотрел в потолок, слушал капель. В кармане, в тумбочке, лежало письмо. Материно. Он не доставал его уже несколько дней. Боялся. Знал, что если прочтает — не выдержит. Расклеится.

А раскисать было нельзя. Война не прощает слабости.

Через три дня его выписали. Не совсем — направили на долечивание в учебный центр. Но из госпиталя ушёл.

Когда он собирал вещи — гимнастёрку, брюки, сапоги, пилотку — в палату вошла та самая женщина, которая первой сказала ему, что он в госпитале. Сняла повязку — лицо оказалось молодым, лет тридцати, усталым, но красивым.

— Вы уходите, товарищ лейтенант?

— Ухожу.

— Жаль. Вы у нас долго лежали. Привыкли.

Он не ответил. Он не умел говорить такие слова. Не умел прощаться.

— Возьмите, — она протянула ему сложенный лист бумаги. — Это характеристика. Для командования. Написали, как могли.

Он взял, развернул. Прочитал.

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на лейтенанта ПОДЛЕСНОГО Александра Ивановича, 1917 года рождения, находившегося на излечении в госпитале

№1042 г. Куйбышева с ноября 1941 года по март 1942 года.

I. Общие сведения

Подлесный А. И. поступил в госпиталь 12 ноября 1941 года

с тяжёлым осколочным ранением левой половины грудной клетки и левого плеча. Ранение получено при выходе

из окружения под Вязьмой в октябре 1941 года.

За период лечения проявил себя как дисциплинированный, волевой пациент. Болевой синдром переносил стойко, жалоб

не высказывал. На вопросы о самочувствии отвечал односложно, избегал развёрнутых ответов. С медицинским персоналом вежлив, но дистанцирован. С другими ранеными не общался, большую часть времени проводил в молчании, глядя в одну точку.

II. Психологическое состояние

По заключению врача-психолога, у Подлесного А. И. наблюдается посттравматическое стрессовое состояние, характерное для военнослужащих, вышедших из окружения и потерявших личный состав подразделения.

Отмечается:

Повышенная тревожность (особенно в ночное время)

Нарушение сна (кошмарные сновидения, трудности засыпания)

Эмоциональная закрытость, отказ обсуждать события, связанные с ранением

Гипервигильность — пациент постоянно насторожен, вздрагивает при резких звуках, предпочитает находиться

у окна или у двери

При этом:

Интеллект сохранён, мышление ясное

Речь связная, грамотная

Ориентация в пространстве и времени полная

Суицидальных мыслей не высказывал

Заключение психолога: состояние компенсированное. Пациент способен вернуться к строевой службе после завершения курса реабилитации. Рекомендовано дальнейшее наблюдение, избегание триггерных ситуаций (резкие звуки, ограниченное пространство) в период восстановления.

III. Морально-политические качества

Подлесный А. И. политически грамотен. В беседах высказывал патриотические настроения, готовность продолжать борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Пораженческих настроений не проявлял.

На вопросы о политической обстановке отвечал сдержанно, оценочных суждений избегал. При упоминании имени тов. Сталина реакции не проявлял ни положительной, ни отрицательной — что может свидетельствовать как о политической зрелости, так и о внутренней отстранённости.

IV. Заключение

Лейтенант Подлесный А. И. является ценным кадром для дальнейшей службы в разведывательных и диверсионных подразделениях. Боевой опыт (участие в боях под Минском,

Вязьмой, выход из окружения), личная подготовка, знание немецкого языка, психологическая устойчивость делают его перспективным кандидатом для выполнения специальных задач.

Физическое состояние после лечения — удовлетворительное. К строевой службе годен с ограничениями (тяжёлый физический труд противопоказан в течение 3—4 месяцев).

По истечении этого срока — годен полностью.

Рекомендуется:

Направить для прохождения дополнительной подготовки
в Школу особого назначения при Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения
(ОМСБОН) НКВД СССР.

Начальник госпиталя №1042

майор медицинской службы

А. Е. Вознесенский

Начальник отделения кадров

капитан И. П. Сорокин

Врач-психолог

старший лейтенант медицинской службы

Е. С. Розова

15 марта 1942 года

г. Куйбышев

Он сложил лист, сунул в карман, туда же, где лежало письмо матери.

— Спасибо, — сказал он женщине. — За всё.

Она улыбнулась. Устало, по-женски тепло.

— Возвращайтесь, товарищ лейтенант. Только живым.

Он кивнул. Вышел из палаты. Прошёл по коридору, мимо палат, где лежали другие — с ампутированными ногами,

с перевязанными головами, с закрытыми глазами. Те, кто тоже выжил. И те, кто уже не выживет. Война не отпускала их. Никогда.

На улице было холодно. Снег скрипел под ногами. Куйбышев жил своей жизнью — суетливой, грязной, прифронтовой. Грузовики с солдатами, санитарные машины, очереди за хлебом. Люди, которые тоже ждали. Ждали чуда. Ждали победы. Ждали, когда кончится этот кошмар.

Но сейчас, стоя на морозе, сжимая в кармане письмо матери и характеристику из госпиталя, он чувствовал только одно

— холод. И пустоту. Ту самую, которая пришла к нему в лесу под Вязьмой. И которая, наверное, останется с ним навсегда.

Он поправил ремень, надвинул пилотку и зашагал в сторону вокзала. Там, в учебном центре ОМСБОНа, его ждали. Ждали новые люди. Новая война. Новая жизнь. Или то, что от неё осталось.

Учебный центр располагался в тридцати километрах

от Куйбышева, в глубине смешанного леса, там, где старые сосны мешали свои кроны с молодыми берёзами. Место было выбрано не случайно — со всех сторон болота, единственная дорога, которую зимой расчищали только для проезда, а весной она превращалась в непролазную жижу. С воздуха центр

не просматривался: деревья стояли стеной, а дым из печных труб рассеивался в кронах, не поднимаясь выше.

После падения Москвы таких центров становилось всё больше. Ставка эвакуировалась в Куйбышев, заводы уходили

за Урал, а здесь, в глубине страны, ковали оружие, которое должно было действовать там, где обычная армия уже не могла. Говорили, что немцы остановились под Сталинградом,

но надолго ли — никто не знал. Фронт катился на восток, и чем дальше он откатывался, тем больше становилось потребность

в людях, умеющих воевать в тылу.

Подлесный добирался сюда трое суток. Сначала поездом до станции, потом попутной полуторкой до лесного кордона, потом пешком, по инструкции, которую ему вручили

в госпитале. «Идти по азимуту двести сорок градусов

до развилки. У развилки — контрольный пункт. Пароль: «Сосна». Отзыв: «Корень»».

Он шёл и думал о том, что начинается новая жизнь. Или

не жизнь — то, что её заменит. Война, которой он научился под Москвой и Вязьмой, была войной пехотной — окопы, атаки, отступления, разведка боем. Та война была понятной:

ты видишь врага, ты стреляешь в него, он стреляет в тебя. Здесь, в ОМСБОНе, ему предстояло научиться другому. Невидимой войне. Войне, где враг не всегда в серой шинели. Войне, где главное — не выстрелить первым, а остаться незамеченным.

Контрольный пункт он нашёл без труда. Два солдата

в масках, с автоматами, вышли из-за деревьев, когда

он уже подходил к развилке.

— Стоять. Пароль.

— Сосна, — сказал Подлесный, поднимая руки.

— Корень, — ответил старший, опуская автомат.

— Документы.

Подлесный протянул предписание и справку из особого отдела. Солдат изучил бумаги, сверил с картотекой.

— Лейтенант Подлесный? Вас ждут. Идите прямо по тропе, метров пятьсот. Там увидите казармы.

Он кивнул и пошёл дальше. Лес расступился — и он увидел центр.

Это был городок в миниатюре. Несколько длинных деревянных бараков, выкрашенных в зелёный, плац, выложенный досками, хозяйственные постройки. В центре

— что-то вроде клуба, с наспех сколоченной сценой

и портретами вождей на фасаде. За бараками — полоса препятствий, вышка для парашютной подготовки, стрельбище. Всё новое, наскоро сколоченное, пахнущее свежим деревом и машинным маслом.

На плацу стояли люди. Человек тридцать, в гимнастёрках, без ремней, без оружия. Инструктор в кожанке командовал: «Напра-во! Кру-гом!» Люди поворачивались, иногда сбиваясь

с ритма, и тогда инструктор матерился — длинно, витиевато, с южным акцентом.

Подлесный остановился, наблюдая. Курсанты. Молодые, в основном, лет по двадцать — двадцать пять. Некоторые

— старше, под тридцать. Лица разные — городские

и деревенские, интеллигентные и простоватые, сосредоточенные и беззаботные. Их объединяло одно — они пришли сюда добровольно. Знали, куда идут. Или не знали, но догадывались.

— Лейтенант Подлесный? — голос раздался сзади.

Он обернулся. На крыльце одного из бараков стоял мужчина в форме майора. Лет сорока, крепкий, с сединой на висках и быстрыми, цепкими глазами.

— Я.

— Майор Громов. Начальник учебного отдела. Проходите.

Кабинет Громова был маленьким, заставленным. Стол, стулья, сейф в углу. На стенах — карты, схемы, таблицы.

На одной из карт Подлесный заметил наспех нанесённую линию фронта — она проходила гораздо восточнее, чем в те дни, когда он попал в госпиталь. Москва была отмечена красным флажком, перечёркнутым крест-накрест. Он смотрел на это несколько секунд, прежде чем перевести взгляд на майора.

— Садитесь, — Громов кивнул на стул. Сам сел напротив, достал из папки бумаги. — Так, посмотрим. Подлесный Александр Иванович, 1917 года рождения. Москва. Исторический факультет МГУ, два курса. В армии с июня сорок первого. Служба — разведрота сто второй дивизии. Ранение под Вязьмой, выход из окружения. После госпиталя — к нам.

Он поднял глаза.

— Неплохо. Языки?

— Немецкий. Свободно. Французский — со словарём.

— Немецкий — это хорошо. Очень хорошо. А как вы, лейтенант, смотрите на то, чтобы научиться убивать не в окопе, а в тишине?

Подлесный помолчал.

— Я уже умею, — сказал он.

Громов усмехнулся.

— Умеете. Я не сомневаюсь. Но есть разница между тем, чтобы стрелять по врагу в атаке, и тем, чтобы снять часового без звука. Или заложить мину так, чтобы её не нашли. Или переодеться в немецкую форму и пройти через пост, не вызвав подозрений. Этому мы здесь и учим.

— Я готов.

— Знаю. Поэтому вы здесь.

Майор встал, подошёл к карте.

— ОМСБОН — это не просто школа диверсантов. Это бригада особого назначения. Мы готовим людей для работы

в тылу врага. Диверсии, разведка, организация партизанского движения. Задачи, которые обычная армия не может решить. Вы будете работать там, где нет фронта. Где каждый ваш шаг

— на грани смерти. Где нет артиллерийской поддержки, нет связи с командованием. Вы и ваша группа — сами по себе.

Он повернулся к Подлесному.

— Вы готовы к этому?

— Я готов, — повторил Подлесный.

Громов посмотрел на него долгим взглядом. Потом кивнул.

— Хорошо. Завтра приступаете. А пока — располагайтесь. Казарма номер три, койка двенадцать. Ужин в девятнадцать ноль-ноль. Завтра в шесть — подъём. Не опаздывать.

Казарма была длинной, с двумя рядами коек, застеленных серыми одеялами. Человек двадцать уже были на местах

— кто-то писал письма, кто-то чистил обувь, кто-то просто лежал, глядя в потолок.

Подлесный нашёл свою койку, положил вещмешок, сел. Сосед слева — рыжий, веснушчатый, с открытым лицом

— протянул руку.

- Егоров. Степан. Из Сибири. А ты?
- Подлесный. Александр. Из Москвы.
- Москвич, значит. А я из-под Томска. В тайге рос. Говорят, здесь охотников ценят.

Правда?

- Правда.
- А ты кем был до армии?
- Студентом. Историю изучал.
- Историю? — Егоров удивился. — А в диверсанты зачем?

Подлесный не ответил. Он сам не знал ответа. Или знал, но не мог сказать.

Справа, на соседней койке, кто-то засмеялся.

- Историк! Скажи, а карфагеняне тоже в диверсанты ходили?

Подлесный повернулся. Говорил парень лет двадцати двух, с резкими чертами лица и цепким взглядом. Он сидел, поджав ноги, и смотрел с усмеш-

кой.

- Не знаю, — спокойно ответил Подлесный. — А ты кем был?
- Лётчиком. Самолёт сбили под Москвой. Теперь вот в пехоту перековали.
- В каком полку служил?
- В сто семнадцатом истребительном.
- Под Вязьмой?
- И под Вязьмой тоже. А что?

Подлесный помолчал.

- Ничего. Я там был. В октябре.

Усмешка исчезла. Парень посмотрел на него внимательнее.

- В окружении?
- В окружении.
- И как? Вышли?
- Вышел.

Парень хотел спросить ещё что-то, но не спросил. Отвёл взгляд.

- Ладно, — сказал он. — Бывало. Меня Вороновым звать. Андрей.

- Подлесный. Александр.

Они пожали руки.

Подъём был в шесть. Будильников не было — в шесть ноль-ноль зажигался свет, и дневальный проходил по казарме, стуча пустой гильзой по железной печке. Звук был резким, пронзительным — он врезался в сон, заставлял вскакивать, хвататься за одежду, бежать на построение.

Первое построение запомнилось надолго.

Инструктор — тот самый, в кожанке, с южным акцентом

— стоял перед строем, руки в боки, и смотрел на курсантов так, будто они были не людьми, а провиантом, который вот-вот испортится.

- Слушай мою команду! На первый-второй рассчитайсь!

Курсанты зашумели, задвигались. Рассчитались. Кто-то сбился, кто-то переспросил. Саша тоже сбился — на секунду замешкался, назвал не свой номер, и инструктор это заметил.

— Отставить! — рявкнул тот. — Вы кто такие? Курсанты? Нет. Вы — мясо. Мясо, которое должно стать диверсантами.

А пока вы — мясо. И обращаться с вами буду как с мясом. Понятно?

- Так точно! — ответил строй нестройно.

— Не слышу!

— Так точно! — заголосили уже громче.

— Так-то лучше. Итак. Я — старшина Кравченко. Ваш инструктор по физической и огневой подготовке. Будем учиться бегать, прыгать, стрелять и убивать. Не обязательно в таком порядке. Кто не справится — отправим в штрафбат. Там тоже нужны люди. Вопросы?

Вопросов не было.

— Тогда — за мной. Марш-бросок десять километров. Кто отстанет — подтянется на турнике до потери пульса. Пошли!

И они побежали. По лесу, по снегу, который уже начал подтаивать, по грязи, которая хватала за сапоги, не отпускала. Впереди — старшина Кравченко, который бежал легко, будто не замечал ни грязи, ни холода. За ним — курсанты. Тяжело дыша, спотыкаясь, падая, поднимаясь.

Подлесный бежал в середине колонны. Плечо ныло — старое ранение давало о себе знать. Он пытался держать темп, но уже на третьем километре понял, что силы кончаются. Дыхание сбилось, в боку закололо, ноги стали тяжёлыми, будто налились свинцом. Он замедлился, пропуская вперёд Егорова, который бежал легко, пружинисто, словно и не замечал нагрузки.

— Давай, лейтенант! — бросил тот на бегу. — Не отставай!

Саша попытался ускориться, но споткнулся о корень, вылезший из земли, и упал, больно ударившись коленом. Кто-то пробежал мимо, не останавливаясь. Кто-то бросил короткое: «Держись!»

Он поднялся, стиснул зубы и побежал дальше, хромя.

К финишу он пришёл предпоследним. Кравченко стоял у турника, смотрел на часы, потом перевёл взгляд на Подлесного.

— Лейтенант, — сказал он без усмешки. — Ты чего? Говорили, ты из окружения вышел. А бегаешь как новобранец.

— Ранение, — выдохнул Подлесный, держась за бок.

— Не рассчитал силы.

— Ранение — не отмазка. Здесь все раненые. Вон Воронов

— лётчик, ногу ему перебило, а бегают быстрее тебя. Значит, не в раненых дело.

Подлесный промолчал. Он знал, что Кравченко прав. Дело было не в раненом плече. Дело было в том, что после госпиталя он почти не двигался, а до этого — два месяца в окружении, где сил хватало только на то, чтобы выжить. Он отвык от нагрузок. И теперь это становилось очевидно.

— Подтянись, — приказал Кравченко. — Десять раз.

И будешь бегать каждый день дополнительно, пока не догонишь остальных. Понял?

— Понял, — ответил Подлесный.

Он подошёл к турнику. Пальцы сжали холодное железо. Первые три подтягивания дались легко, на четвёртом руки задрожали, на пятом он повис, не в силах поднять подбородок выше перекладины.

— Давай! — рявкнул Кравченко. — Ты лейтенант или баба?

Подлесный рванул вверх, пересиливая боль в плече, пересиливая дрожь в руках, пересиливая желание разжать пальцы и упасть. Шестой, седьмой, восьмой. Девятый он сделал с закрытыми глазами, десятый — на одной силе воли,

не чувствуя рук.

Спрыгнув на землю, он едва устоял на ногах. Кравченко смотрел на него без жалости, но и без злорадства.

— Слабоват, лейтенант. Но жилка есть. Бегать будешь каждый вечер после занятий. Через месяц догонишь.

Стрельбы начались через неделю.

К тому времени Подлесный уже немного пришёл в форму. Вечерние пробежки по лесу, которые он делал в одиночку, пока остальные отдыхали, начали давать результат. Дыхание стало ровнее, ноги — легче. Но плечо всё ещё ныло, особенно после подтягиваний.

Стрельбище находилось в полукилометре от казарм, на краю леса. Длинная просека, в конце которой были установлены мишени — деревянные щиты, обтянутые мешковиной, с нарисованными силуэтами.

— Оружие! — скомандовал Кравченко. — Заряжай!

Курсанты защёлкали затворами. Кто-то сделал это быстро, привычно. Кто-то — медленно, путаясь, роняя патроны. Подлесный зарядил пистолет спокойно, без лишних движений. Рука помнила это действие ещё с фронта.

— К бою! Огонь!

Грохот выстрелов разорвал утреннюю тишину. Подлесный стрелял размеренно, стараясь не спешить. Четыре выстрела, потом два, потом ещё два. Когда он опустил руку, в барабане оставалось два патрона — он промахнулся дважды, не удержав оружие на последних выстрелах из-за дрожи в руке.

— Отставить! — скомандовал Кравченко. — Смена мишеней!

Когда мишени принесли, старшина прошёлся по рядам. Подлесный смотрел на свою. Восемь попаданий из десяти. Четыре в грудь, две в голову, два — в молоко. Неплохо, но не идеально. Раньше он стрелял лучше.

— У тебя, — Кравченко ткнул пальцем в одного из курсантов, — три пули в молоко. У тебя — одна в голову, остальные в землю. У тебя — две в плечо, хорошо, но остальные... плохо.

Он дошёл до Подлесного. Посмотрел на мишень.

— Восемь из десяти, — сказал он. — Для фронта — хорошо. Для диверсанта — плохо. В тылу у тебя будет один выстрел. Один. Промахнёшься — умрёшь. Или те, кто с тобой.

— Я знаю, — ответил Подлесный.

— Знаешь, но руки дрожат. Почему?

— Ранение. И... не стрелял два месяца.

— Понятно. — Кравченко взял его пистолет, проверил. — Сгоняй дрожь. Стреляй каждый день по сто выстрелов. Пока не перестанет.

Он отвёл Подлесного в сторону, к другому стрельбищу, где висели мишени меньшего размера.

— С пятидесяти метров. В голову. Пять выстрелов.

Подлесный поднял пистолет. Первый выстрел — мимо.

Он выругался про себя, поправил хват. Второй — в плечо. Третий — в голову. Четвёртый — снова мимо. Пятый

— в голову.

Две из пяти. Кравченко покачал головой.

— Маловато, лейтенант. Маловато.

— Я исправлюсь, — сказал Подлесный.

— Исправляйся. Времени мало. Через месяц — первое задание.

Рукопашный бой оказался тяжелым.

Занятия проводил другой инструктор — капитан Ковальчук, невысокий, плотный, с руками, покрытыми шрамами. Говорили, что до войны он был чемпионом по самбо, что воевал

в Испании, что лично положил не один десяток фашистов. Правда это была или нет — никто не знал. Но смотрели на него с уважением.

— Забудьте всё, чему вас учили в армии, — сказал

он на первом занятии. — Штыковой бой, приклады, всё это

— для пехоты. Вы — диверсанты. Вы будете убивать тихо. Ножом, руками, подручными средствами. Ваша цель

— не победить в честном бою. Ваша цель — убрать врага так, чтобы никто не услышал.

Он показал основные приёмы. Как подойти сзади. Как зажать рот. Как ударить ножом — в шею, под лопатку, в почку.

Как сделать это быстро, без лишних движений.

Потом разбил курсантов на пары и велел отрабатывать.

Подлесный встал в пару с Егоровым. Тот, хоть и был шире

в плечах, двигался медленно, неуклюже. Подлесный легко уходил от его захватов, сам несколько раз провёл приём, заставив сибиряка упасть на маты.

— Тихо! — прикрикнул Ковальчук, подходя к ним.

— Ты, лейтенант, делаешь всё правильно. Но ты — не Егоров. Ты должен уметь не только сам, но и научить того, кто не умеет. Поменяйтесь. Теперь ты — слабый. Пусть он тебя бросает.

Подлесный кивнул. Он расслабил мышцы, позволил Егорову захватить руку. Сибиряк дёрнул — Подлесный упал, ударившись спиной о мат.

— Больно? — спросил Егоров.

— Терпимо. Давай ещё.

Они повторяли приём снова и снова. К концу занятия Подлесный был весь в синяках, но Егоров наконец-то научился делать бросок без запинки.

— Молодец, лейтенант, — сказал Ковальчук, проходя мимо. — Из тебя хороший инструктор выйдет.

— Я не инструктор, — ответил Подлесный, потирая ушибленное плечо. — Я солдат.

— Солдат, который умеет учить других, — это командир. Запомни.

Следующее занятие по рукопашному бою едва не закончилось для Подлесного провалом.

Ковальчук вызвал его в круг — показать приёмы против ножа. Напротив встал Воронов, тот самый лётчик с резкими чертами лица. В руке у него был учебный нож — деревянный, но на вид как настоящий.

— Нападай, — сказал Ковальчук.

Воронов двинулся быстро, неожиданно. Подлесный ушёл

в сторону, перехватил руку — но Воронов оказался быстрее. Нож скользнул по предплечью, и хотя лезвие было деревянным, удар вышел сильным. Подлесный дёрнулся, потерял равновесие и рухнул на землю.

— Вставай, — сказал Ковальчук.

Подлесный поднялся. Воронов стоял напротив, усмехаясь.

— Вязьма не научила, лейтенант?

Подлесный промолчал. Он сжал кулаки, чувствуя,

как закипает злость — на себя, на свою медлительность,

на то, что этот парень, который даже не был в пехоте, оказался быстрее.

— Ещё раз, — сказал он.

Воронов снова пошёл вперёд. На этот раз Подлесный не стал ждать — шагнул навстречу, перехватил руку с ножом, крутанул, подбил ногу. Воронов упал, не успев даже вскрикнуть. Через секунду Подлесный сидел у него на спине, прижимая голову к земле.

— Всё, — сказал он спокойно.

— Встать! — скомандовал Ковальчук. — Хорошо. Мог бы и раньше так.

Воронов поднялся, отряхиваясь. Лицо красное, глаза злые.

— Ещё, — сказал он.

— Не надо, — остановил его Ковальчук. — Ты уже мёртв. Он тебя зарезал бы, пока ты летел. Тихо. Быстро. Без звука.

Он повернулся к Подлесному.

— Злость — это хорошо. Но в тылу злость убивает.

Ты должен быть холодным. Спокойным. Как лёд. Понял?

— Понял, — ответил Подлесный, тяжело дыша.

Танк, который пригнали на полигон, был старым, ещё довоенным, Т-26. Его поставили в центре поля, заглушили мотор, и теперь он стоял, ржавый, облезлый, с закрытыми люками.

— Это ваш враг, — сказал Кравченко. — Танк. Немецкий.

В тылу вы с ним столкнётесь обязательно. Задача — не бояться. И знать, как его уничтожить.

Он показал, где у танка уязвимые места. Моторный отсек. Гусеницы. Стык между башней и корпусом. Бензобаки.

— Бутылка с зажигательной смесью — в мотор. Связка гранат — под гусеницу. Мина — под днище. Но сначала надо подойти. Близко. Метров на десять. А он — стреляет.

И пулемётом, и пушкой. И вокруг — пехота. И страшно.

Он усмехнулся.

— Страшно — это нормально. Кто говорит, что не боится,

— врёт. Но бояться можно. Паниковать — нельзя.

Первые разы были ужасны. Танк ревел мотором, гусеницы взрыхляли землю, пулемёт строчил вхолостую. Курсанты залегали, вжимались в землю, некоторые отползали назад.

Подлесный тоже боялся. Когда он впервые побежал к танку, сердце колотилось где-то в горле, ноги становились ватными,

а в голове была только одна мысль: «Сейчас он меня раздавит». Он упал в тридцати метрах от машины, не добежав, и лежал, вжимаясь в землю, пока Кравченко не подошёл и не пнул его сапогом.

— Встать! Трус! Ты что, под пули полезешь? А ну, давай!

Подлесный поднялся, стиснул зубы и побежал снова. На этот раз он добежал до танка, бросил гранату — учебную, но бросил точно, под гусеницу. Откатился. Вскочил. Побежал обратно.

— Хорошо! — крикнул Кравченко. — Ещё!

Он бегал пять раз. Потом — десять. К концу занятия он уже не боялся. Не потому, что перестал понимать опасность. Просто тело запомнило, что делать, а страх остался где-то на периферии, не мешая двигаться.

— Неплохо, лейтенант, — сказал Кравченко, когда Подлесный в десятый раз вернулся на исходную. — Сначала думал, ты сломаешься. А ты — ничего. Жилка есть.

— Я не ломаюсь, — ответил Подлесный, вытирая пот с лица. — Я уже ломался. В Вязьме. Теперь — некуда.

Подрывное дело вел пожилой капитан с орденом Красной Звезды на кителе. Он не повышал голоса. Говорил тихо, спокойно, будто читал лекцию в университете. И от этого становилось ещё страшнее.

— Тротил, — говорил он, держа в руке серый брусок.

— Простой, надёжный, мощный. Не боится воды, не боится холода. Детонирует от капсюля-детонатора. Взрывная волна

— пять-семь тысяч метров в секунду. Запомните эту цифру. Она вам жизнь сбережёт.

Он показывал, как крепить шашки, как соединять их детонирующим шнуром, как устанавливать капсюль. Как рассчитать вес заряда для рельса, для моста, для железобетонного укрытия. Как замаскировать мину, чтобы её не нашли.

— Главное в подрывном деле, — говорил он, — не мощность. Главное — точность.

Курсанты учились на деревянных макетах. Подлесный, который всегда был хорош с цифрами, схватывал быстро.

Он аккуратно соединял шашки, рассчитывал вес заряда, проверял соединения.

— Смотрите, — капитан показывал его работу другим.

— Здесь заряд рассчитан точно. Ни больше, ни меньше. Рельс перебит, шпалы целы. Зачем рвать всё, если можно уложить поезд одним зарядом?

Подлесный слушал и молчал. Он знал, что в теории всё просто. А вот как будет на практике, когда тротил будет настоящим, а рядом — настоящие немцы, — этого он не знал.

Занятия по языку вёл сам майор Громов.

Он не был филологом, но знал немецкий так, что его можно было принять за уроженца Баварии. Акцент, интонации, жесты — всё было точным, выверенным.

— Запомните, — говорил он. — В тылу врага язык — ваше главное оружие. Важнее ножа. Важнее гранаты. Если

вы говорите как русский — вы труп. Если говорите как немец — вы живёте.

Он заставлял их учить фразы. Самые простые. «Я солдат вермахта». «Моя часть в отпуске». «Где здесь комендант?»

«Я ранен, помогите».

Подлесный знал немецкий ещё с университета. Но когда Громов попросил его представиться по-немецки, он запнулся

на первом же слове. Акцент, который он считал правильным, оказался слишком московским, слишком книжным.

— Неправильно, — сказал Громов. — Вы говорите как преподаватель, а не как солдат. Слушайте.

Он повторил фразу, и Подлесный вдруг услышал разницу. Немецкий Громова был живым, грубоватым, с лёгкой хрипотцой. Настоящим.

— Попробуйте ещё раз.

Подлесный попробовал. Лучше, но всё ещё не то.

— Ещё.

На пятый раз Громов кивнул.

— Уже ближе. Учитесь, лейтенант. У вас есть база, но нет практики. Будем исправлять.

Они занимались каждый вечер. Читали вслух немецкие газеты, переводили уставы вермахта, слушали записи немецких речей. Громов заставлял говорить, спорить, ругаться

— по-немецки.

— Вы должны думать на немецком, — говорил

он. — Не переводить с русского. Думать. Как немец. И тогда вы станете невидимыми.

К концу второго месяца Подлесный уже говорил свободно. Не идеально, но так, что его можно было принять за баварца, выросшего где-нибудь в Мюнхене. Громов слушал, кивал, но всё равно находил ошибки.

— Хорошо. Но не расслабляйтесь. Одна ошибка — и всё. Поняли?

— Понял, — ответил Подлесный по-немецки, и в этот раз акцент почти не выдавал его. Полоса препятствий была их ежедневным испытанием.

Она начиналась с трёхметрового забора, за которым следовал ров с водой, потом — колючая проволока, потом

— разрушенный мост, потом — дымовая завеса, потом

— стрельба, потом — ещё один забор, потом — бег, бег, бег.

Первое время Подлесный проходил её хуже многих.

Он застревал на заборе, падал в ров, цеплялся за колючую проволоку. Егоров, который лазал по деревьям с детства, проходил полосу быстрее всех. Воронов, несмотря на раненую ногу, тоже был впереди.

— Лейтенант, ты чего? — кричал Егоров, когда Подлесный

в очередной раз свалился с бревна. — Не держишь равновесие!

— Знаю, — огрызнулся Подлесный, вытирая грязь с лица.

Он злился на себя. Он, который прошёл Вязьму, который выжил в окружении, который должен был быть лучшим здесь, оказывался середняком. А иногда и хуже.

Но он упрямо возвращался на полосу снова и снова. После занятий, когда остальные отдыхали, он шёл к забору и учился перелезть его быстрее. Потом — к бревну, учился держать равновесие. Потом — бежал через ров, пока не перестал падать.

Через месяц он уже проходил полосу в первой пятёрке.

Не лучшим, но твёрдо в группе лидеров. Кравченко смотрел на его результаты и молча кивал.

Ночью, когда казарма засыпала, Подлесный часто не спал. Он лежал на койке, смотрел в потолок, слушал дыхание спящих. Егоров всхрапывал, Воронов ворочался, кто-то бормотал во сне.

Он думал о том, что будет после. О задании, которое ему предстоит. О людях, которых поведёт. О том, сколько из них вернётся.

В кармане лежало письмо. Материно. Он не доставал его уже несколько месяцев. Боялся. Знал, что если прочитает

— не выдержит. А раскисать было нельзя. Не здесь, не сейчас.

Он думал о Вязьме. О снеге, о крови, о криках, которые не забываются. О Ковалёве, который вытащил его из леса.

О тех, кто остался там, в окопах. О том, что он не смог их спасти.

— Ты чего не спишь, лейтенант? — голос Егорова раздался из темноты.

— Не спится.

— Думаешь?

— Думаю.

— О чём?

— О том, что будет.

— А что будет? — Егоров сел на койке. — Победим. Вернёмся. Всё будет хорошо.

— Хорошо, — повторил Подлесный. — Конечно, будет хорошо.

Он не стал спорить. Не мог отнять у парня последнее

— надежду.

— Спи, — сказал он. — Завтра рано вставать.

Егоров лёг, через минуту уже спал. Подлесный остался один. Смотрел в потолок. Слушал тишину.

Где-то далеко ухали орудия. Война продолжалась. И она ждала их.

Глава 2. Куйбышев. Начало конца

Большой и могучий некогда город встречал очередной серый рассвет. Тяжёлые вздохи его груди пробуждали жителей. Один роковой день изменил облик всей страны, когда вероломное вторжение врага нарушило привычный ритм жизни каждого гражданина. Молох войны задел каждую семью, каждого человека. С того дня прошло два тяжёлых года. Пыл врага поубавился, но настойчивость в искоренении целых наций осталась. Уже были известны случаи массовых расправ

и планомерного уничтожения городов и деревень. Но никогда враг не был так близок к победе, как сейчас.

Всхлипы артиллерии будили этот город, жителей которого осталось не так много в связи с эвакуацией. Но та часть, что осталась, не жила, а выживала на серых развалинах красивого города на Волге.

Двадцать девятое февраля ознаменовало начало сражений

за этот город на широкой реке. После падения Москвы Ставка объявила Куйбышев новой столицей. Сюда эвакуировали правительство, заводы, госпитали. Теперь немцы рвались

к Волге, чтобы обезглавить страну. Постоянный рёв моторов самолётов, налетавших как стаи ворон, сбрасывал фугасные бомбы на крыши домов. Затем вторая стая сжигала кровлю этажей и целые улицы. Городской парк был одним из первых, кто пострадал в тот день. Яркое зимнее солнце висело неподвижно, когда из глубины запада нарастал с приближением эскадрилий отчётливый и пугающий гул. Тяжёлые «Юнкерсы-88» и более лёгкие «Штуки» летели в сопровождении быстрых истребителей «Фридрих». Одна из «Штук», или, как было принято среди красноармейцев называть её за неубирающиеся шасси, «Лаптёжник», зашла на цель. Гул её сирены, иерихонской трубы, подобный завыванию дикого зверя, увеличивался с приближением к земле, на которой тогда гуляли ни в чём не повинные дети с воспитателями.

Взрыв. Фонтан развороченной земли. Второй заход, быстрый кашель пулемётов — и уход на новые цели. Многие дети были убиты, ещё больше ранено или оглушено. Присыпанные землёй тела малышей долго находили красноармейцы, прибывшие

на помощь. Так начинался бой за Куйбышев.

Зелёная полуторка, накрытая брезентом, везла солдат навстречу фронту. Вчерашние выпускники, совсем мальчишки, делили кузов машины с ветеранами боёв за Ржев и Москву, вынужденные — кто организованно, кто мелкими группами

— отходить к великой русской реке. Уже здесь они должны были собраться в большой кулак и в последний раз ударить врага. Но с каждым днём шансы таяли, а разведка приносила не самые воодушевляющие данные.

Автомобиль мчал, выжимая из себя последние силы. Тарахтение двигателя и скрежет передних рессор сводили обитателей машины с ума. Водитель, молодой парень, уроженец этого дивного города, знающий все закоулки, которые он ещё ребёнком облазил вдоль и поперёк, закрепил знания, отработав таксистом на этих улицах. Не ждав указов командира, он вёл бойцов окольными путями и узкими улочками. Лейтенант, сидевший с ним, только и успевал, что водить пальцем по карте, разложенной на коленях, и смотреть, куда повернёт водитель.

Расчётливо и сосредоточенно, метр за метром, он вывозил

их за город. Проезжали третью линию обороны, которая располагалась ещё в черте города. Один из этих домов был оборудован под госпиталь, в котором ютились сотни раненых.

В соседнем доме был командный пункт командира дивизии.

Затем шла вторая линия — тяжело укреплённые позиции зенитных орудий, ДОТов и целая система траншей, ходов сообщения. Весь укрепрайон занимал площадь вглубь более двенадцати километров, утыканных казематами

и полукапонирами, разбросанными повсюду полями мин и неисчислимым количеством проволочных заграждений.

В кузове красноармейцы были темнее тучи. Каждый погрузился в раздумья. У каждого — личная трагедия.

Но объединяло их одно: ненависть к врагу, который прошёлся по их земле, оставив после себя пепелище. В глазах солдат читался вопрос: как такой огромный индустриальный колосс смог так быстро пасть почти навзничь от ударов врага.

Машина мчала дальше, виляя по грунтовым дорогам, оставленным для ротации войск. Мчала в сторону ещё горящих немецких танков, чья чёрная копоть покрывала половину серого неба. Всё ещё были слышны визги снарядов утихающего боя.

И сегодня оборона не будет прорвана. И сегодня ещё можно дышать спокойно.

Навстречу им, тяжело переваливаясь с боку на бок, выползала из снежной мглы полуторка, до краёв забитая телами. Кузов был накрыт брезентом, но ветер то и дело откидывал край, обнажая страшное содержимое — гору измождённых,

уже давно остывших тел, чья кровь пропитала доски. Красноармейцы в кузове крестились, глядя на эту страшную встречу. Те, кто постарше, молча сжимали зубы. Молодые отводили глаза.

Машина доехала до переднего края обороны второй линии

и остановилась. Водитель отчётливо постучал кулаком в кабину, и в ту же секунду задний борт открылся. Солдаты начали выгружаться, неуклюже валясь на землю, придерживая шапки руками, марая сапоги, брюки и края шинелей о разрыхлённую снежную колею. Последние в спешке выгружали деревянные ящики с боеприпасами.

Взвод построился быстро.

— Становись! — скомандовал заместитель командира взвода, посмотрев в сторону ещё заведённого автомобиля,

из которого выходил высокий черноволосый лейтенант.

Подойдя ближе к строю, он скомандовал:

— Смирно! — приложив руку к шапке, двинулся на доклад. — Товарищ лейтенант, взвод построен. Все люди налицо. Заместитель командира взвода старший сержант Егоров.

— Вольно, — сказал Подлесный. — Вольно, товарищи.

Он обвёл взглядом строй. Двадцать три человека. Молодые, грязные, уставшие. Некоторые — ещё по-граждански нестриженные. Другие — с обветренными, обмороженными лицами. Совсем мальчишки. Вчерашние курсанты. Выпускники школы ОМСБОНа. Он знал каждого.

Егоров стоял по правую руку от командира, вглядываясь

в лица бойцов. Косая сажень в плечах, шинель на нём сидела ладно, под стать фигуре — не мешок, а одежда по мерке. Томская тайга не терпит хлипких, она выковывает таких, как

он: неторопливых, основательных, умеющих ждать. Про таких говорят — крепень-мужик.

Он смотрел на молодых и вспоминал. Вокзал, эшелон, украшенный красными знамёнами, солнце, слепящее глаза. Жена держала младшего на руках, старший рвался к отцу, кричал, что тоже хочет на войну, бить фашистов. Она

не плакала. Стояла прямая, губы сжаты в нитку. Только глаза выдали — такие влажные, что Егоров до сих пор видит их, когда не спится по ночам.

— Вернись, — сказал он тогда. — Обязательно.

Она кивнула. Не поверила. Или поверила, но знала, что обещать такое нельзя.

Старший сын, двенадцатилетний, уже понимал всё. Смотрел серьёзно, по-взрослому. Младший, восьмилетний, просто тянул руки, хотел на руки, не понимал, что происходит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.